

Кто видит первым



ВЕРОНИКА АНТ

18+

Вероника Ант

Кто видит первым

«Автор»

2026

Ант В.

Кто видит первым / В. Ант — «Автор», 2026

Она читает людей за сорок секунд: по обуви, по паузам, по тому, как человек держит чашку. Сначала это было способом выжить, потом ремеслом, потом привычкой, которая не отключается. У неё есть муж, которого она выбрала сама, двое детей, дом у моря и три тайника, о которых не знает никто. И одна слепая зона: себя она не читает. Эта книга собрана из её тетрадей — и из записей человека, который всё это время смотрел на неё со стороны и молчал. Он и решил, в каком порядке расставить страницы. Кто видит первым — тот и рассказывает историю.

Содержание

Перед чтением	5
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	6
Глава 1	7
Глава 2	11
Глава 3	14
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	17
Глава 4	18
Глава 5	21
Глава 6	24
Глава 7	28
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	33
Глава 8	34
Глава 9	38
Глава 10	41
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Вероника Ант

Кто видит первым

Перед чтением

Эта история собрана из разных видов правды.

Из того, что произошло. Из того, что запомнилось. Из того, что о людях говорили другие. Из того, что человек рассказывал о себе. И из того, чего никогда не было, но что могло бы случиться.

Ни один из этих источников не является полностью надёжным.

Память меняет порядок событий. Репутация увеличивает одни черты и стирает другие. Любовь оправдывает. Страх додумывает. Автор расставляет акценты. Рассказчик выбирает, какую дверь открыть, а какую оставить закрытой.

Поэтому эту книгу не следует читать как попытку восстановить чью-либо биографию. Это роман. Его персонажи собраны из наблюдений, чужих историй, личного опыта, слухов и воображения. Реальность дала им отдельные черты. Литература соединила эти черты в людей, которых никогда не существовало именно такими.

Здесь не всегда важно, что произошло на самом деле.

Гораздо важнее, кто увидел это первым, кто первым дал этому имя и чья версия осталась последней.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Из её тетрадей:

*«Восьмёрка Кубков. Уходят не тогда, когда перестают любить. Уходят, когда чаши
допиты».*

Глава 1

За четыре дня его молчания я написала речь из двенадцати слов.

«Так больше жить нельзя. Или мы будем вместе по-настоящему — или я уйду». Я сократила её с двух страниц. Убрала всё, за что можно зацепиться, все «почему» и «как ты мог» — крючки, на которые мужчины ловят женщин, чтобы превратить расставание в переговоры. Переговоры я бы выиграла, но в этот раз мне нужно было выйти без этого.

Я репетировала перед зеркалом в ванной, шёпотом, по ночам. Сорок раз — я считала. Я всегда считаю: счёт держит руль, когда всё остальное его отпускает.

Смешно, если знать, чем я зарабатываю.

Компания платит мне за то, что я читаю людей. Официально это называется «психолог по оценке персонала»; неофициально — я говорю им, кто врёт. Врут все, это не новость и не преступление. Платят за другое: за то, чтобы я сказала, кто врёт опасно. Во вторник передо мной сидел кандидат на финансового директора — дорогой костюм, честные глаза, биография сшита идеально без швов. Он рассказывал, почему ушёл с прошлого места, и на слове «по собственному желанию» его большой палец дважды прошёлся по безымянному, там, где полгода как не было кольца. Я дала ему договорить. Одна деталь не значит ничего — одиночный жест я не подшиваю, я жду кластера; палец был третьим. Потом задала три вопроса про его распорядок дня — и к третьему он поплыл. В отчёте я написала четыре строки. Его не взяли.

На чужие швы у меня уходит сорок минут.

А со своим — я жила три года.

Вот что я вам скажу про него, раз уж обещала честность — хотя бы здесь, на бумаге, где всё равно никто не проверит. В нём не было ничего выдающегося. Я проверяла дважды по всем своим шкалам — тем самым, за которые мне платят. Красивый мужчина с речью лидера и биографией статиста. Он строил империи вслух: по вторникам — сеть ресторанов, по пятницам — переезд к океану, деньги в этих планах всегда были чужие, сроки — никогда. Харизма без несущих стен. Заурядный, в сущности, эгоист.

Это и было самое страшное. Нет, не он, а та женщина рядом с ним. Женщина, которая читает людей на скорости взгляда, три года тонула в человеке, которого могла разобрать за один вечер. Разобрала же тогда в первый месяц. Сложила обратно и решила не верить собственному отчёту.

Почему? — на этот вопрос у меня есть профессиональный ответ, длинный, с терминами. И есть настоящий, короткий, я выучила его в шесть лет, стоя у окна: мужчины уходят к тем, кого любят по-настоящему. Значит, надо стать той, от которой невозможно уйти. Значит, любовь — это когда добываешь. Другие объяснения меня не устраивали до сих пор.

Впрочем, про окно потом, может быть.

Четыре дня телефон отвечал мне двумя серыми галочками. Я не звонила, хотя и звонить после второго дня значит отдать последнюю фигуру. Я ходила на работу, разбирала чужие вранья, вечером во вторник поехала в центр.

Про центр не знает почти никто, и это информационная гигиена. По вторникам и четвергам я работаю там бесплатно: дети, у которых мир собран иначе, чем у нас, и которых наш

мир за это наказывает. Есть мальчик — он не смотрит в глаза никому, включая мать, и выстраивает машинки в линии, ровно одна к одной. В тот вторник он впервые положил ладонь мне на рукав. Подержал четыре секунды. Убрал.

Я вышла на улицу и минуту стояла, дыша.

Это единственная комната в моей жизни, где я не играю. Поэтому я о ней молчу. Чистое пачкается от показа, и это проверено на всём остальном, что у меня было чистого.

Ключ повернулся в замке в половине третьего ночи, на пятые сутки.

Я не спала, сидела на кухне с холодным чаем и репетицией под языком. Услышала замок и успела заметить, как моё тело проголосовало раньше меня: спина выпрямилась, живот втянулся, рука пошла к чайнику. Ещё раз, для протокола: рука пошла к чайнику — так дрессированная собака знает: хозяин пришёл, сейчас погладят.

У моих рук всегда было особое мнение о моих планах.

Он вошёл в кухню такой помятый, красивый той небрежной красотой, которая дорого стоит только смотрящему, — и улыбнулся. Улыбка у него была отдельным организмом: она не извинялась, не оправдывалась, она просто занимала комнату, как занимают столик без брони. От него пахло чужим праздником: табак, кем-то надушенный воздух, ночь не для меня.

— Ты чего не спишь? — Он поцеловал меня в макушку, проходя к холодильнику. Макушка помнит этот поцелуй до сих пор: сухой, точный, поцелуй-печать «получено». — Есть что-нибудь поесть?

Двенадцать слов лежали у меня под языком и растворялись, как таблетка, которую забыли запить.

Я разогрела суп.

Здесь — всё. Не в его изменах, которых я тогда не могла доказать, не в его исчезновениях, которым он не считал нужным искать объяснений. Здесь: три часа ночи, женщина с готовой речью и ястребом в работе ставит на плиту кастрюлю и следит, чтобы не пригорело. Я следила, чтобы ему не пригорело.

Он ел и рассказывал. Что-то про приятеля, который утопил телефон в аквариуме, — смешно рассказывал, он умел; я поймала себя на том, что улыбаюсь, и разозлилась на собственное лицо. Кухня была тёплая. Его голос был тёплый. Он собирал хлебом со дна тарелки, и в этом жесте было столько дома, что хотелось выть.

На середине супа он поднял глаза:

— Не представляешь, как я вымотался. — Пауза, ровно такая, чтобы я успела приготовиться. — Хорошо, что есть ты. Без тебя я бы совсем пропал.

Вот. Вот за этим я сидела четыре ночи.

Я знаю, как это устроено, — я объясняла это чужим женщинам за деньги. Переменное подкрепление: награда, которая приходит редко и непредсказуемо, держит крепче регулярной. Голубь в ящичке жмёт на рычаг до кровавых мозолей, если зерно падает не каждый раз. Он выдавал мне «без тебя пропаду» раз в месяц-полтора, дозированно, как аванс, — ровно столько, чтобы хватило до следующего исчезновения.

Я знала схему. Я могла нарисовать её на доске.

Я жала на рычаг.

В три пятнадцать я мыла его тарелку. Вода была слишком горячая, но и я не убавляла: пусть. Внутри было тепло и тихо — то самое тепло, которое я потом годами буду учиться отличать от счастья. Благодарность. Настоящая, объёмная: он вернулся, он ел мой суп, я нужна.

А на дне этой благодарности, тихо, как камень в колодце, лежал стыд.

Стыд — телесное чувство, что бы вам ни говорили. Он начинается между лопаток и стекает вниз по позвоночнику, холодный, медленный. Я стояла над раковиной, руки в кипятке, спина в холоде, и думала: у этого есть название. У всего, что со мной происходит, есть название, диагноз, глава в учебнике, я сдавала по ней экзамен.

Названия не лечат. Это первое, что понимаешь в моей профессии.

И последнее, что соглашаешься признать.

Он уснул быстро, так по-хозяйски заняв кровать по диагонали, — человек, который и во сне брал больше места, чем ему причиталось. Я вернулась на кухню, достала из ящика под полотенцами тетрадь и колоду.

Колода у меня старая, затёртая по углам, купленная в девятнадцать лет у женщины, которая сказала мне тогда три вещи; две уже сбылись. Тетради я веду с тех же лет — расклады, даты, выводы. Имён в тетрадях нет. Имя же приманивает судьбу: напишешь — считай, позвала. Люди у меня проходят буквами, городами, прочерками.

Он не заслужил даже буквы. Три года он шёл в моих тетрадях прочерком, я повторяла себе, что это осторожность. Конечно, осторожность, что же еще. Не брезгливость и не страх. Осторожность.

Я перетасовала колоду тёплыми ещё от кипятка руками и спросила: что дальше?

Выпала Восьмёрка Кубков. Фигура в плаще уходит от восьми аккуратно составленных чаш — в гору, в темноту, не оглядываясь. Карта ухода. Карта «всё, что можно было выпить здесь, выпито».

Я посмотрела на неё ровно, как смотрю на кандидатов.

«Перемена обстановки, — записала я в тетради. — Возможно, поездка».

Иногда я гадаю так, как подследственный ведёт допрос: отвечаю только на те вопросы, которые мне нравятся. Профессионал во мне поставил бы этой записи диагноз в одно слово. Я закрыла тетрадь раньше, чем он успел его произнести.

Утром я собиралась на работу под его ровное дыхание. Он спал на животе, отвернув лицо, лопатки ходили в такт — красивая спина, я когда-то знала её наизусть, как знают маршрут до дома. Я стояла с чашкой и смотрела: вот мужчина, который вчера вернулся из ниоткуда, съел суп, сказал шесть правильных слов и спит, не спросив, как я прожила эти четыре дня. Даже не соврал, что скучал. Ему не приходило в голову, что тут нужно врать.

Речь из двенадцати слов я убрала туда же, куда убираю всё неудобное. Место там давно закончилось, но я умею утрамбовывать — семейный навык, по маминой линии.

До ухода оставалось одиннадцать дней.

Я этого ещё не знала. Знала, кажется, только карта — но её я уже переписала начисто, в удобной редакции, и она лежала в тетради тихо, как лежит всё, что мы переписываем начисто.

До поры.

Глава 2

Дни после возвращения — лучшие в цикле. Об этом не пишут в учебниках, об этом рассказывают женщины на третьем сеансе, когда перестают следить за лицом.

Он проснулся к полудню другим человеком. Сварил кофе — мне первой, себе потом, и я отметила это «первой» с точностью прибора, который фиксирует всё, что можно занести в графу «доказательства любви».

Ходил по кухне в моей рубашке оверсайз, строил вслух империю номер сорок семь — на этот раз галерею уличной еды, «понимаешь, никто ещё не сделал это правильно», — и я слушала, подперев щеку, как слушают море: без надежды на смысл, ради самого звука.

Вот вам механика хороших дней, бесплатно. Эти дни своего рода инвестиция. Три дня тепла покупают месяц моего терпения по курсу, который назначает он. Я знала этот курс наизусть, я чертила такие графики чужим клиенткам на салфетках.

Свой график я не чертила. На себя у меня не хватало салфеток.

В среду мы встретились с подругой — единственной, кто остался у меня с университета, из времён, когда я ещё подпускала людей без досмотра. Кафе у её дома, столик у окна, она размешивала сахар дольше, чем требует химия.

— Ну и как у вас? — спросила она.

— Хорошо. Ровно. Он много работает.

Я выдала ей сборку из трёх аргументов: занятость, сложный период, мужчинам нужно пространство. Голос ровный, интонации тёплые, пауза после второго пункта — я собираю такие защиты профессионально, у меня они получаются лучше, чем у адвокатов, по крайней мере — я так думала.

Она дослушала. Посмотрела на мой телефон — я держала его экраном вверх и, оказываясь, за десять минут трижды проверила, не ожил ли.

— Слушай, — сказала она без перехода. — Ты сейчас со мной работаешь, а не разговариваешь.

Я открыла рот, задумалась на секунду. Закрыла.

Есть особое унижение в том, чтобы быть прочитанной, — я наблюдала его сотни раз с другой стороны стола и считала, что ко мне оно не применимо. Подруга смотрела на меня без торжества, и от этого было хуже: торжество можно оскорбиться и уйти, а тут была просто она, знавшая меня до всех моих защит.

— Прости, — сказала я. И, помолчав: — Привычка.

— Я знаю. — Она отпила кофе. — Меня другое интересует. Когда ты в последний раз разговаривала, не работая? С кем-нибудь, с ним, с собой.

Я хотела ответить «вчера» и поняла, что совру. Хотела «на прошлой неделе» — тоже. Настоящий ответ был: по вторникам и четвергам, с мальчиком, который выстраивает машинки и не смотрит в глаза, но про центр я не рассказываю даже ей.

— Не помню, — сказала я. Это было честно. Честность далась как чужой язык — со словарём, медленно и неуверенно.

Она кивнула, как врач, получивший наконец правдивый анамнез, и заказала нам обеим десерт, который я не хотела и съела до крошки.

Вечером позвонила мама.

Маму зовут Эстер, и у неё талант: она умеет превратить прогноз погоды в трагедию в трёх актах, с антрактом, во время которого виноватые — все. В тот вечер актом первым шла соседка, вторым — давление, третьим, по классике, — я: не звоню, не приезжаю, «у тебя всегда голос такой, будто я тебя отвлекаю».

Я провела разговор за одиннадцать минут — переключение внимания, отражение чувств, две валидации, мягкое завершение. Я веду маму, как трудного клиента, много лет; она не замечает. Или замечает — и это её способ получать от меня хоть какое-то прикосновение. Об этом я стараюсь не думать: там, дальше этой мысли, начинается комната, в которую я не хожу.

Положила трубку. Налила вина. Рука не дрожала — руки у меня вообще спокойные, они рано выучили, что дрожать бесполезно.

И только с бокалом, у тёмного окна, я позволила себе одну — одну — непрофессиональную мысль: голос мамы на пике всегда звучал как дом. Значит, где-то внутри меня «дом» и «шторм» записаны на одну кассету. Значит, его качели мне не страшны. Мне на них — знакомо как дома.

Мысль постояла секунды три.

Потом я сделала с ней то, что делаю со всеми уликами против себя: подшила в дело и закрыла папку. Отец ушёл, так как полюбил другую, — вот моя версия, ей двадцать восемь лет, она выдержала все проверки, потому что я не проводила ни одной. Мама тут ни при чём. Мы договорились об этом с собой давно, и я не пересматриваю выгодные договоры.

Ясность пришла в ночь на четверг, и привела её банальная мелочь. Ясность вообще ходит за мелочами, как карманник за туристами.

Он врал мне про вечер вторника. Не в чём-то важном — в ерунде, в маршруте, «заезжал к Дину, обсуждали помещение». Ложь была ленивая, второсортная, без подготовки, без деталей — уровень, который выдал бы его даже стажёру. Он и не старался. Ему в голову не приходило, что для меня нужно стараться.

И вот это село мне под кожу, между лопаток, туда, где живёт стыд. Мне — которой корпорации платят за то, что я слышу неправду на второй фразе, — три года подавали ложь без сервировки, как объедки. И я ела. Аккуратно, с приборами, делая вид, что это ужин.

Он уснул. Я лежала на своей половине — у меня была своя половина, у него была вся кровать, так это работало — и смотрела в потолок.

А потом сделала то, чего не делала никогда: открыла на себя дело.

Я провела сеанс. Молча, в темноте, по протоколу, как с клиенткой. Женщина, тридцать четыре года. Запрос: «хочу понять, почему не могу уйти». Так, стоп, — запроса нет, клиентка пришла недобровольно. Начнём с фактов. Три года отношений. Партнёр: нестабильное присутствие, переменное подкрепление, финансовая безответственность, предположительные измены — доказательств нет, потому что клиентка саботирует их сбор. Клиентка: высокий интеллект, профессиональная эмпатия, тотальный контроль во всех сферах, кроме одной. В этой одной — полная сдача управления. Спрашиваем: что клиентка получает? Не «почему терпит», а что получает. В этой схеме всегда есть выгода, иначе схема не живёт.

Ответ пришёл безмолвной картинкой: кухня, три часа ночи, я разогреваю суп — и мне тепло. Мне тепло, потому что я нужна. Нужна — значит, не уйдёт. Не уйдёт — значит, я наконец выиграла у того, с чемоданом, из-под окна, хотя он давно умер для меня, а я для него — ещё раньше.

Я лежала очень тихо. Так тихо лежат, когда внутри что-то щёлкает — не взрыв, не гром, а маленький сухой звук, с каким выключают свет в комнате, где всё уже увидели.

Он спал рядом, красивый, заурядный, дыша ровно, как дышат люди, которым не снится ничего, потому что всё их воображение уходит на планы. Я смотрела на его спину и впервые за три года читала её без словаря: спина человека, которому я удобна, но нелюбима. Разница в одно слово и в одну жизнь.

Уходить я решила в четверг, в 4:12 утра. Без слёз — слёзы будут позже и не по расписанию. Решение легло внутрь ровно, как ложится верный диагноз: не легче, но точнее.

Оставалось спланировать выход.

Планировать я умею, этим тоже когда-то зарабатывала.

До ухода оставалось четыре дня.

Глава 3

Выход я готовила так, как готовят план эвакуации.

Четыре дня, по часу-полтора, пока он спал или отсутствовал: документы — в одну папку, важное — в облако, наличные — тремя частями в трёх местах, потому что деньги, лежащие в одном месте, это не деньги, а мишень. Руки делали всё сами, в правильном порядке, без списка. Откуда руки знают порядок эвакуации — вопрос не для этой главы. У некоторых навыков нет срока годности, есть только причины, по которым их прятали.

Я не собирала вещи заранее — заранее собранная сумка кричит. Я просто знала, что возьму, до последнего предмета, и сколько это займёт.

В ночь на воскресенье я не спала. Лежала на своей половине и слушала, как он дышит — ровно, глубоко, с лёгким присвистом на выдохе, к которому я за три года привыкла, как привыкают к шуму холодильника: замечаешь, только когда исчезает. Скоро исчезнет, думала я. Вернее — исчезну я, а присвист останется и достанется следующей. Вместе с империями по вторникам и поцелуями-печатами в макушку.

В 5:20 я встала.

Одиннадцать минут выглядели так: документы, ноутбук, две смены одежды, косметичка, чемодан. Из неположенного — синяя чашка, из которой я пила кофе ещё до него. Пальцы сомкнулись на ней сами, я не стала спорить: если рукам, которые четыре дня работали как сапёры, нужна одна глупость — пусть.

Платья, которые нравились ему, я оставила висеть. Пусть достанутся следующей — вместе с ролью, размер у роли безразмерный.

Фотографии в рамках я не тронула тоже. На них улыбалась женщина, которую я больше не собиралась играть, и честно говоря, я плохо её знала.

Он пошевелился, когда я застёгивала сумку. Приподнялся на локте, не открывая толком глаз:

— Ты куда в такую рань?

Даже не «куда» в смысле «от меня». Просто — рань. Просто неудобный звук в его сне.

Двенадцать слов лежали у меня под языком — отрепетированные, сорок раз, до блеска. Я посмотрела на него и поняла вдруг, зачем на самом деле писала ту речь. Речь — это удочка: произносишь и ждёшь, что тебя перебьют, схватят за руку, скажут «стой». Речи пишут те, кто хочет быть остановленным.

Я не хотела быть остановленной. Выяснилось это прямо там, у кровати, в 5:31.

— Спи, — сказала я.

Он поверил мгновенно и лёг обратно. Единственный раз за три года, когда его доверие пришлось кстати.

Дверь я закрыла мягко, придерживав язычок замка. Профессиональное: уходя, не буди объект.

Улица встретила меня серым часом между ночью и утром, когда город ещё не решил, кем будет сегодня. Холод сразу взял за щёки и за пальцы на ручке сумки.

Сейчас я должна написать про свободу — так положено в историях, которые я потом буду читать пачками: героиня выходит за дверь, вдыхает полной грудью, начинается новая жизнь. Я обещала честность, поэтому вот как было на самом деле:

Под рёбрами открылась дыра. Дыра: место, где три года что-то стояло, а теперь сквозило. Мир осел внутрь, беззвучно, как оседает земля над пустотой, и я стояла посреди этого оседания с сумкой и чашкой и не могла вспомнить, как дышать.

А потом пришли они — мысли. По одной, вежливо, как коллекторы.

А вдруг зря. Вдруг это и был твой вариант — заурядный, ленивый, но твой, а ты сейчас топишь его в серой луже. Вдруг надо было ещё потерпеть — ты же умеешь, ты профессионал терпения, у тебя стаж. Ещё один разговор, ещё месяц, люди же меняются.

Люди меняются, да. Я зарабатываю на том, что знаю, в какую сторону и по какой цене.

Я пошла. Просто пошла, потому что стоять было нельзя, а вернуться — ещё нельзя, между этими двумя «нельзя» оставалась только ходьба. Я считала шаги: счёт держит руль. До пятидесяти держал, но на сотне руль повело: рука сама полезла в карман за телефоном — набрать, услышать сонное «ты где?», сказать «я глупость сделала, открой». Я убрала телефон во внутренний карман сумки, под молнию, под документы. Похоронила по всем правилам.

И заключила с собой сделку. Первую из многих в то утро: до угла. Дойди до угла — там решишь. Имеешь право на любое решение, но — от угла.

До угла было шагов семьдесят. Я шла их, как идут по канату, и где-то на середине меня догнало воспоминание, которого я не заказывала.

Мне шесть. Я стою у окна на кухне, коленями на табуретке, лбом в стекло. Внизу, через двор, идёт отец — с чемоданом, в хорошем пальто, походка лёгкая, как у человека, который уже там, куда идёт. Я смотрю ему в спину и жду, что он обернётся на наше окно. Это же просто: поднять голову, найти третий этаж, помахать. Я даже дышать перестала, чтобы не спугнуть.

Он не обернулся. Сел в такси — и всё, двор пустой, стекло холодное и запотевшее у лба.

За моей спиной мама — нет. Стоп! Про то, что было за моей спиной, — не сейчас. Может быть, никогда. Есть комнаты, куда я не хожу, я уже говорила.

Отец ушёл к женщине, которую любил по-настоящему, — так я решила в шесть лет, лбом в стекло, и решение оказалось прочным, как всё, что заливаешь в детстве: держит до сих пор.

А теперь смотрите, что выяснилось тем серым утром, на середине пути до угла. Человеком с чемоданом была я. Лёгкой походки не получалось, но чемодан был, и рассвет был, и где-то, возможно, было окно.

Я обернулась.

Наши окна выходили на другую сторону — я знала это, разумеется, я прожила там три года. Я всё равно обернулась и простояла так секунд десять, глядя на чужой тёмный фасад.

В окне не стоял никто. Никто не смотрел мне в спину, не ждал, что я подниму голову. Можно было идти.

Не знаю, как назвать то, что я почувствовала. В моём профессиональном словаре шесть терминов на это состояние, и все шесть врут.

До угла я дошла.

Это была единственная победа того утра, и я до сих пор не уверена, что она называется победой. Но за угол я завернула, а не вернулась, — пусть считается.

Отель я выбрала дорогой, из принципа: деньги у меня были свои, и немаленькие — откуда, расскажу, когда мы познакомимся ближе. Взяла номер с видом, king size, халаты, вот это всё. Деньги умеют многое: открывать двери, покупать тишину, ставить между тобой и миром толстое стекло.

Держать за руку они не умеют. Это выяснилось около семи утра, когда я обнаружила себя не в кровати, а на полу возле, спиной к матрасу, с чашкой — пустой, синей, единственной знакомой вещью в радиусе километра. У нас с полом в этой книге сложатся долгие отношения; тем утром было первое свидание.

Я не плакала. Я сидела и держала себя за плечи — буквально, крест-накрест, как держат человека, который может побежать. Телефон лежал в сумке все там же, под молнией, под документами, и я слышала его оттуда, хотя он молчал.

Досидела до девяти. Заказала завтрак, съела, сколько смогла. Достала тетрадь.

Писать было нечего — вернее, было, но рука не шла, и я сделала то, что делаю, когда слова кончаются: перетасовала колоду. Один вопрос, одна карта. Что дальше?

Из колоды вышел Дьявол.

Рогатый, спокойный, с цепями, которые, если присмотреться — висят на людях свободно: снимай и иди, никто не держит. Я присмотрелась.

«Это про прошлое, — записала я в тетради. — Про то, из чего я вышла».

Рука у меня при этом была спокойная, как и всегда.

Дьявол редко бывает про прошлое. Дьявол — карта о том, куда ты сам принесёшь свои цепи, аккуратно, в сумке, под документами, вместе с синей чашкой и навыками, у которых нет срока годности. Но это я узнаю через полгода.

А тем утром я закрыла тетрадь, легла поверх покрывала, не раздеваясь и проспала одиннадцать часов — без снов, как спят после операции.

Наркоз отходит позже. Всегда позже.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Из её тетрадей:

«XV. Дьявол. Цепи надеты добровольно — в этом весь фокус. Проверить на себе».

Глава 4

Наркоз отошёл на четвёртый день, в среду, около полудня.

Я стояла в примерочной — снимала квартиру, покупала быт, делала дела, дела держат, — и продавщица спросила что-то про размер. Обычный вопрос. Я открыла рот ответить и вместо ответа поняла, что сейчас упаду: пол примерочной мягко пошёл вбок, зеркало удвоилось, и в груди, там, где четыре дня было аккуратно прибрано, распахнулось.

Я пошатнулась, села на банкетку, опустила голову к коленям и просчитала дыхание: четыре счёта вдох, семь — задержка, восемь — выдох. Протокол. Я назначала его другим сотни раз.

— Вам плохо? — спросила продавщица из-за шторы.

— Не мой размер, — сказала я.

Квартиру я нашла за один день: деньги умеют быстро. Два этажа тишины над цветочным магазином, высокие окна, пустые стены. Первой вещью, которую я купила туда, стал диван — бархатный, цвета изумруда, безобразно дорогой. Продавец назвал цену извиняющимся тоном. Я заплатила, не торгуясь: мне нужен был в новой жизни хотя бы один предмет, который меня богаче.

В понедельник я уволилась.

Надушилась так, как душатся перед дракой: L'Aventure Extreme — дым, кожа, ни одного полутона. Запах человека, который уже всё решил. Заявление легло на стол директора раньше, чем он успел предложить мне сесть.

— Вы уверены? — спросил он. Он смотрел на меня с тоской человека, теряющего прибор, который не купишь в магазине.

— Нет, — честно сказала я. — Поэтому подпишите быстрее.

Вечером позвонила мама. Кто-то доложил — у мамы разведка лучше, чем у некоторых государств.

— Ты сошла с ума, — начала она. Акт первый: «на что ты будешь жить». Акт второй: «в твоём возрасте». Антракт с валидолом, слышимым даже в трубку.

— У меня есть сбережения, — сказала я в антракте.

— Откуда у психолога сбережения?

Хороший вопрос. Лучший её вопрос за годы. Я ответила про премии и вклад — гладко, отполировано, этой формулировке было много лет, и она ни разу не подводила.

— Возможно, я сошла с ума, — согласилась я в финале, потому что согласие сворачивает третий акт вдвое.

И впервые за долгое время улыбнулась в трубку по-настоящему. Безумие оказалось лучше медленного умирания в безопасности. Всё, что мы формулируем красиво, мы формулируем впрок.

А в четверг я сделала главное. То, ради чего, как выяснится, и была вся эта неделя дел. Я убрала гаджеты.

Смартфон — в коробку, коробку — на антресоль. Купила кнопочный, за смешные деньги, вбила в него шесть номеров: мама, подруга, центр, врач, банк, такси. Ноутбук оставила закрытым. Ни ленты, ни сериалов под еду, ни подкастов в уши на прогулке, ни чужих жизней перед сном вместо своей.

Только я, моё тело, мой мозг.

Я думала, самым трудным будет тишина. Я ошибалась. Тишина — это просто отсутствие звука, к ней привыкаешь за три дня, как к температуре воды.

Самым трудным оказались мысли.

Вот чего не пишут в статьях про цифровой детокс: лента, сериалы, чужие голоса — это не досуг. Это дамба. Убираешь её — и всё, что копилось за ней годами, приходит к тебе само, на своих ногах, и садится на край кровати.

Они приходили в 4:12. Я не выбирала время, оно выбралось само, у решений бывают призраки, и мои являлись в час, когда я когда-то решила уйти. Я лежала в темноте, и они рассаживались по одной, вежливые, как коллекторы с хорошей юридической подготовкой.

Первая: ты продержишься месяц и вернёшься, вы обе это знаем.

Вторая: тебе тридцать четыре, и ты одна, и одна ты потому, что с тобой нельзя — ты же видишь людей насквозь, кто выдержит рентген в постели.

Третья, самая тихая и ядовитая: а может, рентген врёт. Может, он был нормальный мужчина, обычный, живой, а ты препарировала его наживую, как препарлируешь всех, и пациент умер. Они всегда умирают. Может, это ты.

С третьей я воевала до рассвета. Против неё не работали протоколы — она была написана моим же почерком.

Я вставала, пила воду, стояла у высокого окна. Внизу спал цветочный магазин, у входа мокли вёдра с нераспроданными хризантемами. Я смотрела на хризантемы и держала себя за локти. Тело — единственное, что оставалось на моей стороне в четыре утра: ноги держали, лёгкие работали, сердце стучало ровно семьдесят два. Я слушала эти семьдесят два, как слушают единственную работающую станцию.

Днём было легче. Днём был порядок: рынок, готовка — я готовила себе, медленно, из хороших продуктов, впервые за годы не «что он любит», а «что хочет моё тело», и выяснилось, что я не знаю, что оно хочет, и надо спрашивать, как малознакомого человека. Спорт — бассейн по утрам, вода держала, воде было всё равно, кто я. Уборка — порядок вокруг структурирует то, что внутри. Книги — бумажные, медленные.

И вторники с четвергами. Центр был единственным пунктом старой жизни, который переехал в новую без досмотра.

В худший из вторников — накануне я не спала совсем, коллекторы работали сверхурочно — мальчик с машинками сделал то, чего не делал никогда. Он выстраивал свою линию, красная-красная-синяя-красная, порядок, известный только ему, а потом взял синюю, подвинул — и посмотрел на освободившееся место. Потом на меня. Потом снова на место.

Приглашение. В его мире, на его языке, по его протоколу.

Я села на пол рядом и поставила в линию машинку, которую он мне выдал. Мы просидели так минут двадцать, не глядя друг на друга, занятые самым важным делом на свете.

На улице я стояла долго. Дышала. Есть комнаты, где меня не надо расшифровывать. Оказалось, я могу в них жить — по два часа дважды в неделю. Для начала неплохо.

На девятнадцатый день тетрадь получила от меня страницу вместо привычного расклада.

Я не планировала, но села записать сон — и рука поехала дальше, криво, без цензуры, как кровь из пореза: «Я не знаю, кто я. Я знаю, кем меня видят: сильной. Я строила сильную двадцать лет — на страхе. Страх быть брошенной, страх зависеть, страх, что, если перестану быть полезной, меня не выберут. Я построила крепость и назначила себя гарнизоном. Крепость отличная. Жить в ней нельзя».

Я перечитала. Рука была спокойная. Руки у меня всегда спокойные, но тут и внутри что-то стояло ровно.

Я не стала переписывать начисто.

Первый раз в жизни — не стала.

Глава 5

Тело вернулось раньше головы. Тело вообще умнее — оно просто не умеет говорить, поэтому мы держим его за прислугу.

На бачату я попала случайно, если случайности бывают. Проходила мимо студии — стеклянная витрина, вечер, внутри крутились пары под музыку, которую я не слышала через стекло, только видела счёт: раз-два-три-удар, раз-два-три-удар. Я стояла на улице дольше, чем прилично стоять взрослой женщине у чужого окна. На витрине висело: «Новичкам — первое занятие бесплатно».

Танцевать я умела. В другой жизни я умела двигаться так, что мужчины забывали, зачем пришли, — стрип-пластика, клубная хореография, восточные танцы, тело как инструмент, отлаженный до последнего позвонка. Но там танец был оружием: я двигалась для смотрящего, я вела его взгляд, я всегда была тем, кто управляет. Танец как инструмент власти.

Бачата оказалась другой. Бачата — про то, чтобы отдать вес.

— Расслабь руку, — сказал инструктор на первом занятии. — Ты держишь весь каркас сама. Так нельзя.

Инструктора звали Джозеф. Высокий, с той спокойной пластикой, которая не выступает, а просто есть, — тело человека, которому нечего доказывать телом. Он ставил мою ладонь себе на плечо и говорил:

— Не веди. Слушай. Твоя задача — почувствовать, куда я поведу, за долю секунды до того, как поведу.

— Я привыкла вести, — сказала я.

— Вижу. — Он улыбнулся без насмешки. — Поэтому у тебя плечи как из бетона. Партнёрша, которая ведёт сама, партнёру не нужна — ему проще одному.

Это было почти оскорбительно и абсолютно точно. Партнёрша, которая ведёт сама, не нужна. Я записала это где-то под рёбрами, рядом с другими диагнозами, которые получила за месяц.

Первые недели тело сопротивлялось так, что к вечеру ныли мышцы, о существовании которых я не знала, — мышцы доверия, если такие бывают. Отдать вес партнёру физически, позволить чужой руке решить, куда пойдёт мой корпус в следующую секунду, — это оказалось труднее любого зала, любой планки. Планка — про то, чтобы держать себя. Здесь надо было наоборот: перестать.

И медленно, занятие за занятием, тело начало вспоминать, что оно не только оружие и не только прислуга. Что оно умеет чувствовать. Что поворот, сделанный не для смотрящего, а просто так, потому что музыка, — это отдельное, забытое, почти стыдное удовольствие. Я выходила из студии мокрая, выжатая, живая — по-настоящему живая, не той адреналиновой подделкой, которую я годами путала с жизнью.

А потом я сделала то, что делаю всегда, когда чувствую тепло: перепутала источник.

Мне стало казаться, что Джозеф смотрит на меня иначе. Дольше держит взгляд после «спасибо за танец». Чаше ставит меня в пару для показа. Что в его «расслабь руку» появилось что-то, чего не было в первом занятии.

Я ловила эти знаки и складывала — я умею складывать знаки, это моя профессия. Из знаков собиралась приятная, тёплая, знакомая конструкция: я ему нравлюсь. Он от меня — если не без ума, то около.

Мне понадобилось непозволительно много времени, чтобы понять простую вещь. Джозеф так смотрел на всех. Дольше держал взгляд с каждой — это называется работа с клиентом. Ставил в пару тех, кто лучше двигался в этот вечер, — это называется показ. Его внимание было профессиональным, ровным, оплаченным моим абонементом, — и я, женщина, которой за чтение людей платят корпорации, приняла сервис за влечение.

Вот тут я впервые испугалась по-настоящему.

Потому что я поняла, что сломано во мне не «умение любить» — с этим-то как раз перебор. Сломан датчик, отличающий настоящее внимание от обслуживания. Всю жизнь внимание ко мне было оплаченным — тем или иным способом, той или иной валютой. Я платила за него собой и получала его как услугу. И теперь, когда мужчина смотрел на меня без счёта, бесплатно и так по-человечески — я не узнавала этого. У меня не было для этого графы. Бесплатное внимание я принимала за влюблённость, потому что не знала, что внимание бывает бесплатным.

Джозефу я ничего не сказала. Ходила на бачату дальше, расслабляла руку, училась отдавать вес — теперь ещё и с этим новым знанием о себе, тяжёлым, как мокрое пальто. Он так и остался инструктором, который делает свою работу. Я даже не уверена, что он помнит, как меня зовут. Это ровно то, чем он был.

С мужчинами по-другому я разбиралась иначе.

Их было несколько за те полгода — я не считаю, хотя обычно считаю всё. Приложение, бар, вечер, утро, «спасибо, было хорошо», и каждый уходил до того, как в его глазах успевало появиться то, от чего надо бежать. Я говорила себе, что это тоже путь к себе. Что так я возвращаю телу его собственность, отбираю у прошлого, беру то, что хочу, по своим правилам, без долгов.

Маленькая ложь. Уютная, как плед.

Правда была проще и мне не нравилась. Я брала мужчин, потому что близость — настоящую, ту, где тебя видят, — я не умела и боялась. А секс без близости я умела в совершенстве: тут я оставалась хозяйкой положения, тут работал датчик, тут я вела, как не давала себе вести в бачате. Каждая такая ночь была не про свободу. Про контроль. Я доказывала себе, что власть над мужчиной у меня по-прежнему есть, а значит, я цела.

Власть была, но целой я не была. Это разные вещи, я просто предпочитала их путать.

Утром после таких ночей я варила кофе в синей чашке и стояла у высокого окна — одна, наконец одна, — и ловила себя на странном. Мне не хотелось, чтобы кто-то остался. И не хотелось, чтобы никого не было. Хотелось третьего, которого нет в меню: чтобы кто-то был так, чтобы можно было при нём молчать. Я не знала такого человека. Я не была уверена, что такие бывают.

Но лучшее в тех месяцах случалось не в баре и не в постели.

Оно случалось вечерами, когда я приходила с бачаты, наливала вина в правильный бокал и ложилась на изумрудный диван — тот самый, что богаче меня. Гасила верхний свет, оставляла одну лампу. И лежала.

Бархат под ладонью был живой. Я проводила рукой по ворсу — по шерсти, потом против, — и он менял цвет и сопротивление, тёмный по свету, светлый против, чуть тёплый там, где только что лежала рука. Я делала это медленно, снова и снова, и в этом не было ничего, кроме самого ощущения: ворсинки под подушечками пальцев, прохлада ткани, переходящая в тепло от моей же кожи. Я лежала щекой на бархате и чувствовала его всей стороной лица. Я вытягивалась во весь рост и ощущала диван ногами, лопатками, затылком — как ощущают надёжную землю.

И приходило странное, забытое, почти невыносимое от нежности желание: раствориться в этом. Стать диваном, тишиной, лампой, вечером. Перестать быть той, кого надо держать, кем надо управлять, кто всё время на посту. Просто быть — тканью, теплом, дыханием.

Я лежала так часами и была — впервые за много лет — не одинока, а одна. Есть разница в одну букву и в целую жизнь.

Тогда я не спросила себя, почему даже наедине с собой, в полной безопасности, мне хочется исчезнуть. Раствориться. Слиться так, чтобы меня не стало.

Но диван был безопасен. Диван не мог полюбить меня, использовать, уйти с чемоданом на лёгких ногах. И я растворялась в нём каждый вечер, училась исчезать безопасно — и называла это исцелением.

Отчасти это и было исцеление. А отчасти — репетиция. Тело училось отдавать вес. Скоро придёт тот, кому оно захочет отдать всё, — и тело будет готово, натренировано, послушно.

Я готовила себя к нему полгода и звала это свободой.

Глава 6

Охоту я покажу одну. Они были одинаковые, как гостиничные завтраки, — разной была только сервировка.

Пятница, конец пятого месяца. Я собиралась, как собираются не на свидание — на работу, которой давно не занимаюсь: платье, которое кажется простым и стоит как простое не кажется; каблук, на котором можно уйти быстро; волосы — небрежность за сорок минут. Духи — *Forbidden Games*, мёд и персик, недавняя покупка. Я купила их себе, не для охоты, и это само по себе было новостью сезона. Но на охоту они тоже годились: сладкое обезоруживает, проверено.

Бар при пятизвёздочном отеле я выбрала не случайно. Эту фауну я знала изнутри. Скажем так: в таких аквариумах я выросла и знаю, как дышат местные рыбы.

Я села у дальнего конца стойки, вполоборота к залу, — так, чтобы меня было видно в три четверти. Три четверти — рабочий ракурс: анфас — это предложение, спина — вызов, три четверти — задача. Мужчины любят задачи, которые кажутся решаемыми.

И начала считать зал. Не глазами — глаза у меня были заняты бокалом. Периферией, отражением в зеркале за бутылками, слухом.

Кандидат первый: у окна, лет сорок, третий виски за сорок минут, смеётся громче своей компании. Отбраковка: алкоголь на этой стадии делает мужчину щедрым и бесполезным — мне не нужен щедрый, мне нужен голодный.

Кандидат второй: за столиком, один, ужинает, поглядывает. Загар неровный, полоска на безымянном — кольцо снято недавно и не насовсем. Отбраковка: женатых не беру. Не мораль — гигиена. И лёгкая мишень: какой интерес ронять то, что само лежит.

Кандидат третий: у стойки, через шесть мест.

Читаю по порядку, сверху вниз, как читаю всех: тут каждая деталь даёт показания.

Костюм посажен по фигуре. Не «дорогой» — посаженный: это разные деньги и разные люди; посадка — это три примерки, это терпение к себе, а такие обычно компенсируют его нетерпением к остальным.

Часы — те, которые не носят, а предъявляют. Кому предъявлять, сидя в одиночестве, спиной к залу? Никому — в том и ответ: это уже не жест, это осанка. Человек живёт на витрине так давно, что витрина выросла, — значит, среагирует на то, что нарушит витринный порядок.

Заказ: вода с газом и бокал белого. Двойной заказ — подпись контролёра: вино для образа и вкуса, вода — чтобы вкус не начал распоряжаться. Он не отдыхает в этом баре. Он дежурит — при себе. Люди, которые не позволяют вечеру вести себя, страшно устают, и усталость у них копится в одном конкретном месте: в желании, чтобы хоть что-нибудь случилось не по плану — но так, чтобы можно было сделать вид, что по плану.

Телефон экраном вниз. Три версии: уверенность — мир подождёт; дисциплина — сам себе запретил; и третья, моя любимая: он ждёт звонка важнее всего этого зала и не хочет, чтобы зал видел, как он ждёт. Мне подходит любая из трёх — все они означают, что у человека есть

скрытый канал и привычка его прятать. С такими легко: они уважают чужие скрытые каналы, потому что судят по себе.

На официантку не посмотрел вовсе. Это не грубость — это картография: в его мире люди делятся на функции и контрагентов, официантка — функция, как кран или лифт. Отсюда моя задача номер ноль: не дать классифицировать себя ни функцией — «доступная женщина в баре», ни контрагентом — «переговоры».

Войти третьей категорией, под которую у него нет полки. Неклассифицированный объект у людей-каталогизаторов вызывает зуд. Зуд — моя валюта.

Итог по кандидату: мужчина, который никогда не ждал. Ему всё в жизни подавали тёплым — и в этом одновременно его сила и его дверь. Сила: он не суетится, не заискивает, не переплачивает. Дверь: орган ожидания у него атрофирован, как мышца, которой не пользовались. Ждать такому не скучно — больно. Оскорбительно. Всё, что заставит его ждать, автоматически становится самым важным предметом в помещении.

Цель.

Дальше — техника.

Правило первое: цель должна найти тебя сама — и считать это своей идеей.

Почему нельзя просто посмотреть на него, красиво и прямо, как советуют журналы? Потому что прямой взгляд — это заявка. Заявка ставит его в позицию выбирающего: «на меня посмотрели — решаю, отвечать ли». Его картина мира — «всё подают тёплым» — получает очередное подтверждение, а я получаю место в очереди подающих. Из очереди не охотятся. В очереди стоят.

Поэтому я работаю не с ним. Я работаю с барменом, а на самом деле с воздухом вокруг себя.

Два коротких вопроса про вино — не светская болтовня. Я произношу «танины» и «слишком ровное для этого года» негромко, но в его радиусе. Это маркеры: женщина говорит на языке его преysкуранта; женщина здесь не впервые в жизни. И второе, важнее: у женщины уже есть контакт в этом зале, ей хорошо без него. Самодостаточность нельзя изобразить позой — поза врёт. Её изображают занятостью другим.

Потом — смех. Один, негромкий, грудной, ровно на две секунды: короче — не долетит, длиннее — начнёт выглядеть адресованным, а низкий прошит у мужчин на другую глубину, мимо аналитики. Смех женщины в полупустом баре работает как эхолот: каждый мужчина в радиусе на автомате поднимает голову и берёт пеленг — где источник и кто причина. Причина — не он. Вот это «не он» и есть крючок: где-то рядом женщине хорошо, и он к этому непричастен.

Он поднял голову.

У него внутри — я видела этот процесс сотни раз, с разных дистанций — происходит вот что. Фиксация объекта. Оценка: три-четыре секунды, за которые считаются лицо, осанка, руки, цена платья, — мужчины его породы читают ценники сквозь ткань, это профессиональное. Вопрос: одна? Похоже, одна. Дальше по его скрипту я должна почувствовать взгляд и обернуться — все оборачиваются, взгляд такого мужчины имеет вес, он привык.

Я не обернулась.

В его каталоге женщина, не почувствовавшая его взгляда, — ошибка системы. Вариантов три: занята — но я одна; не заметила — исключено, его замечают; или... и вот на этом «или» каталог заканчивается. Я стала неклассифицированным объектом. Зуд пошёл.

Правило второе: дефицит — единственная валюта, которую такие мужчины принимают без пересчёта.

Поймав краем глаза его взгляд — периферия плюс зеркало за бутылками, у охотницы всегда два канала наблюдения, — я посмотрела на часы. Не на телефон: телефон означает «жду сообщения», то есть «в моей жизни есть вакансии». Часы означают структуру: у женщины расписан вечер, она сверяется с графиком, в котором ты не значишься. И бонус: часы — жест из его собственного мира, из мира сделок и слотов. Я говорю с ним на его языке, не сказав ни слова.

Потом я попросила счёт.

Счёт — это выстрел стартового пистолета. В голове мужчины, который никогда не ждал, проходит цепочка, по пунктам: она уходит — я ещё не решил, интересна ли она мне, — решения здесь принимаю я и решение приняли за меня. Всё. Дальше он двигается не потому, что захотел женщину. Он двигается восстанавливать миропорядок. Я продаю ему возможность вернуть себе право решать. За это такие платят любую цену и приходят за покупкой сами, своими ногами.

Окно — примерно две минуты от его первого взгляда: раньше — импульс ещё не вызрел, позже — остынет, каталог подберёт мне полку. Я попросила счёт на второй.

Уходящая — единственная версия меня, ради которой он встанет немедленно и сам. В дефиците покупают не торгуясь.

Он оказался рядом до того, как бармен принёс терминал. Восемнадцать секунд — я засекла, вы же меня знаете.

— Уже уходите? Позвольте хотя бы угостить вас на прощание.

— У меня двадцать минут, — сказала я, глядя не на него — на своё запястье. Потом подняла глаза и выдала ему ровно полторы секунды прямого взгляда. Полторы секунды — это много, если уметь.

Двадцать минут превратились в три часа, и все три часа он был уверен, что завоёвывает. Я работала на встречных вопросах: мужчине этого типа не нужна интересная женщина — ему нужна женщина, рядом с которой интересен он. Я подавала реплики, как подают мячи хорошему теннисисту: чуть под удар. Он рассказывал про фонд, про Цюрих, про яхту, которую «наконец забрал», — и распускался, распускался, как распускаются они все, когда зеркало правильно наклонено.

С телефоном, кстати, я ошиблась: на втором часу он извинился и вышел ответить — дочери, судя по интонации, подростку. Ни одна из моих трёх версий не предусматривала дочь. Я отметила промах и не внесла его в протокол: в те годы я ещё правила свои протоколы.

К полуночи он был уверен, что соблазнил меня. Святая уверенность. Я не разубеждала: пусть считает себя автором — авторские права меня не интересовали, меня интересовал контроль над тиражом.

Люкс был хорош. Секс был хорош — технически безупречен, как этот люкс: всё на месте, всё дорогое, ничего своего. Тело работало, отзывалось, делало положенное и получало положенное — я не притворялась, притворство ниже моей квалификации. Но всё это происходило на расстоянии одного стекла от меня: я была и участницей, и наблюдателем на галёрке, и наблюдатель вёл протокол. Наблюдатель у меня не выключается. Почти никогда. Об исключении — позже.

В пять сорок я одевалась в серой полутьме. Он спал на спине, победно, как спят мужчины, уверенные, что утром их ждёт продолжение банкета.

На тумбочке лежали его часы. Рука — моя рука с богатой биографией — на короткую секунду зависла над ними. Старый рефлекс, как у списанной служебной собаки, которая на пенсии всё равно делает стойку на определённый запах. Я убрала руку. Мы с ней это давно не делаем. Я же говорила: у некоторых навыков нет срока годности — есть только дисциплина.

Я всегда ухожу первой. Статистика за полгода: сто процентов утренних уходов — мои. Да, я вела статистику. Я всё веду.

Первым уходит тот, кто с чемоданом, — а не тот, кто у окна. С той стороны стекла я отстояла своё в шесть лет, и пересматривать позицию не собиралась.

Он написал через день: «Прекрасный вечер. Ужин в субботу?» Через три: «Вы всегда так исчезаете?» Я не ответила ни на одно. Где-то в городе мужчина, который никогда не ждал, — ждал, проверял телефон, не понимал. Я говорила себе, что это маленькое возвращение долга. Не ему лично — им всем, скопом, за то, что мир достаётся им по умолчанию, тёплым, поданным: уверенность мужчине выдают при рождении вместе со свидетельством, а женщина собирает свою по частям, из чужих взглядов, годами, по курсу, который назначает не она.

Мечь была честной. И крошечной. И ничего не меняла — ни в мире, ни во мне.

Вниз я ехала в зеркальном лифте. Восемь этажей.

Вопрос уместился в четыре: кто я без мужчины?

Не «без него» — без любого. Без цели в баре, без чужого взгляда, в котором можно отразиться, без рычага, на который жмёшь. Вот прямо сейчас, между четвёртым этажом и первым, в коробке из зеркал: кто?

Лифт открылся. В холле ответа не было. В зеркалах — тоже: там стояла красивая женщина с идеальной осанкой и спокойными руками, и я понятия не имела, кто она такая, когда на неё никто не смотрит.

Швейцар распахнул дверь. Утро пахло мокрым асфальтом — где-то ночью прошёл дождь, первый за месяц.

Ответ на вопрос из лифта пришёл через одиннадцать дней.

Мокрый насквозь.

Глава 7

Утром одиннадцатого дня я сделала расклад. Выпал Рыцарь Жезлов — всадник на вздыбленном коне, с огнём в руке, несётся, не спрашивая дороги.

«Энергичный день, — записала я. — Много дел».

Я уже объясняла, как я гадаю себе: как подследственный ведёт допрос. Отвечаю только на удобные вопросы.

Ливень начался в четыре, без предупреждения, стеной. Я была в центре, между делами, без зонта — и он загнал меня в первую попавшуюся дверь. Дверь оказалась галереей: полуподвал, три ступеньки вниз, колокольчик, запах пыли и растворителя. Маленький зал, никого, только смотрительница в углу подняла глаза от книги и опустила обратно.

На стенах висела чужая тревога. Тёмные холсты, в которых было больше ночи, чем краски.

Живопись я знала с той стороны, с которой её знают деньги. В прошлой жизни я насмотрелась на стены, для которых покупают: пентхаусы клиентов, кабинеты, где полотно вешают между сейфом и дипломами, — и научилась с одного взгляда оценивать не мазок, а рынок. Оценка запустилась сама, по привычке, за те же сорок секунд, что и всегда: техника уверенная, рука поставлена; цены на табличках занижены минимум втрое против уровня; позиционирования — ноль, галерея-полуподвал, ни каталога, ни имени на слуху. И главное: в интерьеры моих бывших клиентов такое не повесят никогда. Слишком честное. Статуса не прибавляет, аппетита гостям не поднимает, разговор за виски не украшает — богатые покупают не ночь, богатые покупают витрину. Неликвид, вынес вердикт мой внутренний оценщик и закрыл папку.

А я стояла и не могла отвести глаз. Потому что тревогу, в отличие от живописи, я знала с обеих сторон прилавка — и узнаю её в любой технике.

Перед одним я застряла.

Женщина стояла по грудь в чёрной воде. В полный рост, в тёмной толще, и вода — вот что держало меня перед этим холстом дольше, чем прилично, — вода её не топила. Вода её держала. Это было видно по плечам: так не напрягаются плечи тонущего. Так стоят в том, что тебя выдерживает.

Лица у женщины не было. Вернее, было — но размытое, стёртое, как будто художник знал её слишком близко, чтобы разглядеть.

В правом нижнем углу стояла подпись. Одна буква: V.

— Она вам нравится или пугает? — спросили сзади.

— Это разные вещи?

Он засмеялся, и я обернулась.

Сорок секунд — столько мне нужно на мужчину. Привычка, профессия, рефлекс: рост, руки, обувь, часы, посадка головы, что выдаёт, что прячет. Я просканировала его, не успев решить, что сканирую.

И приборы не дали показаний.

Денег — не видно: свитер с растянутым воротом, ботинки живут последний сезон. Статуса — ноль: никакой стойки, никакого предъявления. Страха передо мной — ноль: он смотрел прямо, без той микроскопической заминки, с которой смотрят на красивую женщину все, всегда, я эту заминку ем на завтрак. Желания произвести впечатление — ноль: краска на костяшках пальцев, щетина не дизайнерская, а просто щетина.

По всем моим шкалам — ноль. Пустой бланк.

Я стояла и смотрела на пустой бланк и не могла отвести глаз. Так, наверное, чувствует себя рентгенолог, к которому пришёл человек без скелета: страшно не то, что видишь. Страшно, что не видишь ничего, а человек стоит.

— Разные, — сказал он. — Нравится — это когда хочется остаться. Пугает — когда хочется остаться, но вы уже знаете, чем заплатите.

— А вы, значит, автор.

— Я, значит, автор. — Он кивнул на холст. — Она вас держала одиннадцать минут. Я засёк. Обычно уходят на второй.

— Кто она?

— Пока не знаю. — Он посмотрел на безликую женщину в воде спокойно, как смотрят на недописанное письмо. — Знаю только, что вода её держит. Остальное она мне ещё не сказала.

Мы проговорили до закрытия — смотрительница дважды кашляла из угла, потом сдалась и ушла заваривать чай. Об искусстве, потом о городе, потом обо всём и ни о чём. Есть люди, рядом с которыми собственные мысли кажутся крупнее, — он был из таких. Я говорила и слышала себя умной, глубокой, незаурядной; я, которая двадцать лет собирает такое звучание для других, впервые сидела в кресле клиента.

Позже я пойму, что это фокус. Он не увеличивал собеседника — он подсвечивал его, как подсвечивают холст, который собираются купить. Но это позже. У «позже» в этой книге длинный счёт.

Дождь кончился, начался снова. Мы поднялись к нему в студию — «тут ближе, чем до любого кафе, и кофе честнее» — а потом по железной лестнице на крышу, под козырёк, смотреть, как город стряхивает воду.

Город лежал внизу россыпью чужих окон.

— Чувствуешь? — спросил он. Мы уже были на «ты» — я не заметила, когда, а я замечаю всё.

— Что?

Он взял мою ладонь и приложил к своей груди. Под свитером, под рёбрами, колотилось — часто, крупно, как зверь о прутья.

— Это. Желание сжечь весь мир дотла и построить новый. Из пепла.

От него пахло скипидаром и L'Aventure Sport — запахом человека, который только что бежал и выиграл. Я знала, что это опасно. Я профессионально знала, что «сжечь мир» у таких — не метафора, а прогноз погоды, и что женщин в таких пожарах не спасают, ими растапливают.

Но боже, как давно я не чувствовала себя живой.

С крыши мы спустились в студию по железной лестнице, и я успела принять решение раньше, чем его ладонь легла мне на поясницу: этот — мой. На одну ночь, по моим правилам, в моём темпе. Я делала это десятки раз. У меня было одиннадцать способов заставить мужчину потерять голову — и ни разу не потерять свою.

В студии пахло скипидаром и дождём, который мы принесли на плечах. Горела одна лампа, жёлтая, низкая, — свет, в котором все выглядят виновнее и красивее. На полке среди кистей мигнул красный глазок и погас. Зарядка, подумала я. Если я вообще что-то подумала.

Я начала, как начинала всегда. Полшага назад, подбородок вниз, взгляд снизу — отработанная хореография, номер, на котором мужчины перестают дышать.

Он смотрел. Долго. Потом покачал головой.

— Не так.

— Что — не так?

— Всё это. — Он подошёл вплотную, и мне пришлось поднять лицо. — Ты выступаешь. Не надо. Я не зритель.

Я не зритель, сказал человек, от взгляда которого у меня горела кожа.

Он снял с меня платье так, как снимают крафт с холста, который долго ждали: без рывка, с уважением к тому, что под упаковкой. Костяшки его пальцев были в засохшей краске, и эта краска касалась моей кожи — плечо, ключица, вниз по позвонку, — оставляя, мне казалось, следы, которые не смываются. Я потянулась вести — задать темп, перехватить, у меня руки умнее любого мужчины.

Он поймал обе мои ладони и прижал их к своей груди. Под рёбрами колотился тот самый зверь с крыши.

— Успеешь, — сказал он.

Никто никогда не говорил мне «успеешь». Мне говорили «ещё», «сейчас», «не останавливайся». Успеешь — это слово человека, у которого время принадлежит ему.

Дальше была война, только я поняла это не сразу. Я ускоряла — он замедлял. Я вела — он останавливался и ждал, глядя мне в глаза, пока я перестану вести. Я включала третий способ из одиннадцати, самый безотказный, — он улыбался краем рта и разворачивал меня к себе так, что способ умирал, не родившись. Он разбирал меня, как разбирают чужую подпись: медленно, внимательно, чтобы понять, где кончается почерк и начинается рука.

— Перестань считать, — сказал он мне в шею.

Я вздрогнула. Я действительно считала — вдохи, удары сердца, секунды между его движениями. Счёт всегда возвращал мне руль.

— Я не...

— Считаешь. Я слышу.

Он накрыл мой затылок ладонью — целиком, как накрывают пламя, чтобы не погасло, — и сделал то, от чего счёт оборвался на четырёх.

Дальше я помню телом. Шершавый край стола в краске под моими лопатками. Его вес — такой, под которым тело само решает остаться. Скипидар, дождь, мёд и персик моего Forbidden Games, выгорающего на коже до горького. Я помню, что пыталась вернуть себе хоть один рычаг

— и что каждый раз, когда мне казалось, что я поймала его ритм, ритм уже был другим. Он был на шаг впереди. Всё время. К такому не существует приёмов: приёмы работают с теми, кто медленнее тебя.

Я ненавидела его за это.

Я хотела ещё.

А потом случилось то, чего со мной не случалось годами: в голове стало тихо. Ни расчёта, ни зрителя в углу сознания, ни женщины, которая смотрит на женщину, которая изображает женщину. Только его ладонь на моей пояснице, мой позвоночник, выгибающийся ему навстречу, и темнота, сузившаяся до размеров нас двоих — а потом исчезнувшая совсем.

Я услышала свой голос и не узнала его.

Он не играл. Единственный голос в этой комнате, который за всю ночь ни разу не сыграл.

Потом мы лежали на матрасе у стены, среди подрамников, и под моим ухом стучал его зверь — теперь сытый, ленивый, на длинном шаге. Он водил пальцем по моей лопатке, будто грунтовал. Я лежала и проводила инвентаризацию потерь, как провожу всегда: что отдано, что получено, кто кому должен.

Инвентаризация не сходилась. Впервые за много лет я не могла посчитать, кто выиграл.

Странная у той ночи оптика: себя я помню не только изнутри. Помню, как выгнулась моя спина, — со стороны помню, сверху, из угла под потолком, словно в комнате был кто-то третий, кто видел лучше меня. Память иногда снимает общим планом. Тогда я не спросила себя, откуда у памяти такие ракурсы.

Я всю жизнь хотела одного — чтобы меня видели.

В ту ночь меня видели. Больше, чем я знала.

Проснулась я одна.

От пустоты в простынях: место рядом было пустым и уже остывшим. И, прежде чем включилась голова, включилось другое, древнее, дежурившее всю жизнь: паника.

Вот она, в разрезе, эта паника, — секунды полторы, а вместила годы. Меня оставили. Использовали и оставили — моя собственная формула, мой фирменный приём, статистика сто процентов, — применённая ко мне, спящей, голой, на чужом матрасе среди подрамников. Я всегда ухожу первой. Меня — не уходят.

Меня не уходят, потому что я не даю шанса, а этой ночью я дала все шансы разом, я спала, боже, я спала при постороннем мужчине, глубоко, без дежурного, — и вот результат: остывшая простыня и утро в декорациях чужой жизни.

Я села рывком, собирая на себя простыню и лицо, — и услышала из-за перегородки звук. Керамика о керамику. Вода.

Он стоял у плиты, босой, в старых джинсах, с двумя чашками, и на плите доходила турка. А на планшете у мольберта — я увидела это раньше, чем он обернулся, — карандашом, в четыре линии, была спина. Спящая женская спина, мой изгиб, моя лопатка.

— Ты спишь красиво, — сказал он, не оборачиваясь. Он слышал, что я встала: у него был слух на меня, уже тогда. — Я не удержался. Кофе будешь? Он честный.

И меня накрыло волной — тёплой, высокой, от солнечного сплетения вверх. Не ушёл. Не исчез. Варит кофе, рисовал мою спину, «ты спишь красиво». Годы спустя я найду эту волну в учебнике, в главе про формирование зависимости, под заголовком «первая доза», — но тем утром учебники молчали, а волна была.

И поверх волны, ровно поверх, уже строчил мой внутренний адвокат, быстрый, как всегда: спокойно. Всё под контролем. Это ты его выбрала — вчера, у стойки с бокалом... не было стойки, ладно, у холста. Это твоя добыча, твой сценарий, твой одноразовый — просто талантливее прочих. Выпьешь кофе, скажешь «было хорошо» и выйдешь первой, как всегда. Статистика не пострадает.

Я выпила кофе. Кофе был действительно честный.

«Было хорошо» я сказала уже в дверях, ровным голосом, с правильной улыбкой — три четверти тепла, четверть прощания. Он не стал удерживать. Кивнул, как кивают не точке — запятой:

— Было. Ещё увидимся.

Не вопрос. Даже не утверждение. Прогноз погоды.

Дома я приняла душ, долго, смывая скипидар, дождь и выгоревший до горького мёда. Вечером достала тетрадь — порядок есть порядок, все события заносятся, у событий не спрашивают, хотят ли они в архив.

Бывший три года шёл в моих тетрадях прочерком. Я вам это уже говорила: имён не пишу, имя приманивает судьбу, люди проходят буквами, и буквы ещё надо заслужить.

Этому я дала букву в первый же вечер.

V — как в углу холста, где женщину держит вода.

Я сказала себе, что это для порядка в картотеке. Картотека из одного мужчины — очень удобно, очень профессионально.

«Одноразовый», — приписала я рядом. Рука была спокойная.

Буква посмотрела на меня со страницы и промолчала.

Буквы умеют ждать.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Из её тетрадей:

«XVIII. Луна. Ночью правда выходит гулять без поводка. Не свети ей в глаза».

Глава 8

Шесть дней он не давал о себе знать, и это было правильно, потому что знать обо мне ему было некуда.

Я не оставила ни телефона, ни фамилии, ни адреса. Я профессионально не оставляю следов — привычка из жизни, о которой позже. Уходя тем утром с «было хорошо», я закрыла за собой дверь начисто: найти меня в городе-миллионнике по имени и лопатке — задача не для любителя.

На седьмой день в мою дверь постучали. Не в домофон — в саму дверь, костяшками, коротко и буднично.

На пороге стоял курьер. Кепка на глаза, рабочая куртка не по размеру, в руках — три коробки одна на другой, перевязанные лентой, и поверх коробок — охапка роз. Жёлтых, с оранжевым подпалом по краю лепестка, наглых, как закат перед ветреным днём.

— Доставка, — сказал курьер куда-то в верхнюю коробку. — Распишитесь.

Жёлтые — к разлуке, шепнула во мне бабушкина азбука, которой я не заказывала. Я отмахнулась: бабушкины азбуки не были научным методом. Я потянулась к планшету расписаться — и курьер поднял голову.

Глаза я узнала раньше, чем лицо. Раньше, чем кепку, куртку, ситуацию. Есть вещи, которые тело опознаёт до всякой аналитики, — и моё тело выдало залп: жар от солнечного сплетения вверх, третий удар сердца вне очереди.

Виктор. В чужой куртке, с чужой осанкой — он и двигался эти полминуты иначе, устало, по-курьерски, он играл всем корпусом, — стоял на моём пороге и смотрел на меня снизу вверх из-под козырька, уже не пряча улыбку.

Хочу зафиксировать протокол, потому что он важен. Меня — человека, которому платят за то, что я вижу людей насквозь, — только что обошли на пороге моего собственного дома. Трюком за три копейки: кепка, куртка, сутулость. Он нашёл адрес, который я не давала. Он прошёл мой сканер, как проходят рамку с ключами в кармане, — с улыбкой.

По учебнику мне полагалось почувствовать страх. Красный уровень: мужчина выследил, мужчина проник, мужчина играет.

Я почувствовала себя добычей, которую сочли достойной настоящей охоты.

И мне понравилось.

Вот вам диагноз в одну строку, самый честный в этой книге. Дальше можете не читать — но вы дочитаете, я знаю. Мы все дочитываем такое до конца.

— Как ты меня нашёл? — спросила я.

— Долго рассказывать. — Он переложил коробки мне в руки, сверху пристроил розы, всё это — не спрашивая, приму ли. — Вечером расскажу. Адрес в записке. Надень то, что в коробках.

— А если у меня планы?

— Есть, — согласился он. — В коробках.

И ушёл вниз по лестнице курьерской походкой, не оборачиваясь, — а я осталась в дверном проёме с охапкой чужих решений на руках.

Коробки я открывала на изумрудном диване, медленно, по одной, как сапёр.

Первая: платье. Тёмное, глубокого винного тона, простого кроя, который простым не бывает. Я приложила его и пошла к зеркалу раньше, чем успела себе запретить. Размер был мой. Не «примерно мой» — мой, до посадки по плечам.

Вторая: туфли. Каблук — тот, на котором можно и танцевать, и уйти быстро. Размер — мой.

Третья коробка была меньше, легче, и я открывала её дольше, потому что уже понимала. Бельё. Цвета старого золота, того оттенка, который я никогда не покупала себе и который — я увидела это в зеркале через двадцать минут, не удержалась — был придуман для моей кожи. Размер был мой. Оба размера были мои.

Мужчина провёл со мной одну ночь. Одну. И снял с меня мерки — все, включая те, которые не снимают глазами, — с точностью портного с тридцатилетним стажем. Мужчины не видят женщин, поверьте эксперту: они видят силуэты, категории, «примерно вот такая». Чтобы попасть в размер белья, надо смотреть на женщину так, как смотрят на задачу, которую собираются решать всю жизнь. Или как на холст.

Профайлер во мне заметил вполголоса: глазомер у художников — ремесло, а не магия, в коробках могло приехать три размера, и два уехали обратно. Я не пошла искать чеки. Мне нужна была магия.

Записка лежала в третьей коробке, под золотом. Плотная бумага, почерк с нажимом: «Сегодня. 20:00. — адрес. — Всё уже решено, тебе осталось прийти. V.»

Не «буду ждать» и не «если сможешь»: всё уже решено, тебе осталось прийти.

Возмущение я собрала по всем правилам: мужчина, знакомый одну ночь, выследил мой адрес, купил мне бельё и назначил мне вечер в приказном наклонении. Каждый пункт — статья. Я прокурорски перечислила их себе, стоя перед зеркалом.

В платье от него, в туфлях подаренным им.

Защита выступила коротко: я иду не подчиняться. Я иду посмотреть на его игру — профессиональный интерес, изучение противника на его территории. Я всё контролирую, у меня всегда есть дверь.

Суд поверил защите единогласно. Суд очень хотел поверить.

Адрес оказался его студией — но студию я не узнала. Подрамники сдвинуты к стенам, длинный стол под белой скатертью, свечи — много, безрассудно много для помещения, где ведро с растворителем стоит в углу. Он готовил сам, и готовил всерьёз; он был в тёмной рубашке с закатанными рукавами, и от него пахло Sport и немного дымом.

А у дальней стены, боком к нам, повернутый холстом в темноту, стоял большой подрамник.

Я увидела его сразу — я вижу всё сразу, это профессиональное проклятие. Он увидел, что я увидела.

— Потом, — сказал он. — Сначала ужин. Имей терпение.

— У меня плохо с терпением.

— Знаю. Поэтому и сказал.

За ужином он рассказал, как нашёл меня, и рассказ стоил отдельного протокола: смотрительница галереи вспомнила, что видела меня прежде — за шесть кварталов, у цветочного; в цветочном на первом этаже он показал мой словесный портрет — «у художников хорошая словесная живопись»; продавщица цветочного, романтическая душа, сдала меня за букет пионов. Три хода. Он разобрал мой город за три хода, как я разбираю кандидатов за три вопроса.

— Это называется stalking, — сказала я светским тоном.

— Это называется композиция, — сказал он. — Я увидел картину. Дальше вопрос техники — собрать её.

Я запомнила эту фразу. Потом, годы спустя, я буду вертеть её в руках, как улику: он сказал мне всё в первый же вечер, открытым текстом, за супом. Я увидел картину. Дальше вопрос техники. Они всегда говорят нам всё в первый вечер. Мы всегда слышим комплимент.

После ужина он встал, подошёл к подрамнику и развернул его к свету.

Женщина стояла по грудь в тёмной воде. Та самая, из галереи, — та же толща, тот же свет сверху, те же плечи человека, которого вода держит.

Только теперь у женщины было лицо.

Моё.

Не «похожее». Моё — со всем, что я знаю о нём сама и никому не показываю: с твёрдостью, которая на самом деле испуг; с усталостью под глазами, которую не берёт консилер; со ртом, который умеет молчать на четырёх языках. И поверх всего этого — со светом под кожей, которого я в зеркале не видела никогда. Как будто внутри включили лампу, о которой я не знала.

— Когда, — сказала я. Голос сел. — Мы виделись один раз.

— Лицо — за эти шесть ночей. — Он смотрел не на холст, на меня. — Остальное ждало тебя два года. Я написал её и не знал, кто она. Теперь знаю. Это ты. Это то, что я вижу, когда смотрю на тебя.

Профайлер во мне — единственный трезвый в этой комнате — успел вставить одну реплику: он написал тебя до того, как встретил. Значит, либо судьба, либо кастинг. Женщин, подходящих под готовый холст, в городе тысячи; ты — та, что зашла от дождя.

Я слышала его. Слово «кастинг» я слышала отчётливо. И выбрала «судьбу» — осознанно, взвешенно, глядя на собственное лицо, светящееся из чёрной воды. Потому что за тридцать пять лет никто — ни один человек, включая меня, — не смотрел на меня так долго, чтобы увидеть лампу.

Он предъявил мне меня. За такое платят любую цену. Я знаю женщин, плативших меньше за меньшее, — я вела их дела.

Той ночью я не начинала счёт. Не было четырёх вдохов, на которых он обрывался, — я не начинала вовсе. Тело, натренированное за полгода отдавать вес, отдало его всё, сразу, без переговоров, и где-то на середине ночи я поймала себя на мысли, короткой, как вспышка: вот теперь понятно, зачем была бачата.

Домой я вернулась к полудню, в его платье, со своим — вчерашним — в пакете, как возвращаются с чужого праздника.

Вечером тетрадь получила запись. Я перечитала её сейчас, спустя годы, — она передо мной:

«V. Ужин. Портрет».

Три слова. Про коробки тетрадь не узнала. Про размер белья, угаданный до миллиметра, про „всё уже решено“, про слово «кастинг» — не узнала тоже.

Я редактировала собственную жизнь уже тогда, на входе. Оставляла в архиве версию, с которой смогу жить.

Луна — карта того, что видно только в её свете. При луне, ночами, я видела всё: и леску, и крючок, и удильщика на берегу.

При дневном свете я предпочитала жить.

Глава 9

Захват территории начался с волос.

— Кто тебя стрижёт? — спросил он через неделю, пропуская мои пряди между пальцами, как пропускают ткань перед покупкой. — Нет. Не отвечай. Кто бы он ни был, он стрижёт женщину, которой ты казалась. Я запишу тебя к Марко — он единственный в городе, кто видит форму головы.

У моего мастера я стриглась восемь лет. Он знал мои вихры, мои «только не короче» и мой развод с чёлкой. Марко оказался гением, спорить не о чем: после него из зеркала смотрела женщина дороже меня прежней.

Мой мастер остался в прошлой жизни — вместе с чёлкой и, как выяснится, не только.

Дальше пошло по расписанию, которого никто не объявлял.

— Эта кофейня лучше. Здесь я знаю повара, он делает омлет, за который прощают всё.

— Твой тренажёрный — это конвейер. Сходи к Дине, она ставит тело индивидуально, я договорился.

— Это платье... — пауза, взгляд художника, от которого хочется поправить всё сразу, — надень лучше винное. В нём ты — ты.

Заметьте грамматику: в его фразах не было запретов. Ни одного «не ходи», «не носи», «не смей» — я бы услышала запрет с любого расстояния, на запреты у меня аллергия с детства. Были рекомендации. Экспертные, точные, всегда — всегда — оправданные результатом: омлет был лучше, Дина была лучше, винное было лучше.

У его контроля было безупречное алиби: талант. Спорить с художником о том, как тебе выглядеть, — как спорить с хирургом о линии разреза. Ты можешь. Но зачем тебе шрам похуже?

Я вела учёт — я всегда веду учёт, вы уже знаете. К исходу второго месяца баланс выглядел так: минус мой парикмахер, минус обе мои кофейни, минус зал, минус два платья, которые «носила женщина, которой ты казалась». Плюс: Марко, омлет, Дина, винное, и женщина в зеркале, которая нравилась мне больше прежней.

По учебнику это называется изоляцией с подменой инфраструктуры. Я ставила этот диагноз чужим клиенткам за сорок минут, с примерами.

По жизни это выглядело как забота с безупречным вкусом. В учебниках не пишут главного: изоляция бывает удобной. Тёплой. Вкусной. В учебниках её рисуют клеткой — а она приходит как апгрейд.

Духи он подарил на исходе первого месяца.

Красный флакон с гранёной пробкой, тяжёлый, как решение. Vassarat Rouge — карамель, сожжённая до черноты, дым, что-то победное, идущее впереди тебя на полметра.

— Это ты, — сказал он, — когда выигрываешь.

Я поднесла запястье к лицу и не нашла себя. Духи были великолепные и чужие — так бывает: вещь безупречна, но сшита не на тебя. Слишком громкие, слишком «посторонитесь». Мои — мёд и персик — говорили тише и другое.

Я не сказала ему. Я сказала «спасибо» с правильной теплотой, поставила флакон на полку и надевала его раз в месяц, из вежливости к жесту, — на его вернисажи, где положено идти впереди себя на полметра.

Флакон стоял на полке и убывал так медленно, что почти не убывал. Запомните его. Он ещё сыграет — не скоро и не так, как вы думаете.

А теперь про погоду, потому что настоящая дрессировка делается погодой.

В конце второго месяца я встретила с подругой — той самой, единственной, из времён без досмотра. Мы просидели три часа, я вернулась лёгкая, со смехом в мышцах лица.

Виктор был дома — у него уже был ключ; не спрашивайте, как это случилось, я не помню голосования. Он был вежлив. Он был внимателен. Он был серый, как ноябрь, — ровный, беззвучный, на сутки. Ни одного упрёка: упрёк можно оспорить. Погоду не оспоришь. Под погодой можно только жить, пригнувшись, и ждать, когда распогодится.

Распогодилось через сутки — внезапно, солнечно, с завтраком в постель.

Профайлер во мне встал и продиктовал, чётко, для протокола: оперантное обуславливание. Наказание — не действием, а климатом. Поощрение — по окончании нежелательного поведения. Классика, второй курс, страница сорок.

Я записала. Согласилась с формулировкой. И на следующую встречу с подругой предложила перенести — у меня правда была занята неделя, правда-правда, я сама её и заняла.

Никто ничего не запрещал мне. В этом и есть вся карта, вынесенная в эпиграф, — я поняла её по-настоящему только теперь, записывая: цепи на той карте висят свободно. Дьявол не запирает. Дьявол делает так, что запираешься сама, изнутри, и называешь это выбором.

Оставался центр.

Про вторники и четверги он спросил на исходе второго месяца — легко, между делом, поверх газеты:

— Куда ты ходишь по вторникам? Ты возвращаешься другая.

Другая. Он видел. Конечно, он видел — он видел всё, этим и брал.

И вот здесь, единственный раз за те месяцы, сработало что-то старое, глубинное, из тех навыков, у которых нет срока годности. Я посмотрела на него поверх чашки и соврала — гладко, буднично, с оплаченной годами лёгкостью:

— Йога. Женская группа, скука смертная, но спина скажет спасибо.

Он кивнул и вернулся к газете. Йога его не заинтересовала — на это и был расчёт: скучное не проверяют.

Мальчик с машинками, красная-красная-синяя, два часа дважды в неделю, где меня не надо расшифровывать, — остался за периметром. Единственная территория, которую я не

сдала. Я защитила её так, как умела: ложью. Инстинктивно, не размышляя, раньше всякой аналитики — как отдёргивают руку от огня.

Вечером я сидела с тетрадью и смотрела на эту ложь в упор.

Женщина по уши в любви не прячет от любимого лучшие свои два часа. Женщина по уши в любви тащит его за руку: смотри, вот моё настоящее, смотри, какой мальчик, смотри, какая я там.

Я спрятала. Автоматически. Значит, что-то во мне — то, что не участвовало в голосованиях, не слушало защиту и не верило в судьбу, — уже провело оценку рисков. Уже классифицировало его. Уже строило периметр.

«Йога по вторникам», — записала я в тетради. Даже тетради я в тот вечер сдала официальную версию.

На всякий случай.

Какой случай — я себя не спросила. С некоторыми вопросами лучше не встречаться глазами.

Глава 10

Друзей он подал на третьем месяце, как подают десерт — когда основное съедено.

— В субботу у нас ужин, — сказал он. — Хочу познакомить тебя с самыми близкими. Ник и Холли. Они моя семья, другой нет.

Николас оказался арт-дилером средней руки с обаянием крупной: лёгкий, быстрый, с той разновидностью цинизма, которая сходит за честность, если подавать её с улыбкой. Он целовал руку так, что это выглядело шуткой и комплиментом одновременно, и за вечер трижды рассмешил меня до неприличного.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.